

Льюис Синклер

Эроусмит

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Л91

Л91 **Льюис Синклер**
Эроусмит / Льюис Синклер – М.: Книга по Требованию, 2012. – 354 с.

ISBN 978-5-4241-1637-7

ISBN 978-5-4241-1637-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Синклер Льюис
ЭРОУСМИТ

Я в долгу перед доктором Полем А.Де-Крюи не только за большую часть бактериологического и медицинского материала для этой книги, но и за помощь в разработке самой фабулы, за то, что в каждом персонаже романа он видел живого человека, за его философию ученого. Этим признанием я хочу помянуть месяцы нашей близости во время работы над книгой — в Соединенных Штатах, в Вест-Индии, в Панаме, в Лондоне, в Фонтенебло. Хотелось бы мне воспроизвести наши разговоры в пути, и дни в лабораториях, и почные рестораны, и палубу на рассвете, когда входили мы в тропические гавани.

Синклер Льюис

В фургоне, пробиравшемся через леса и болота пустынного Огайо, сидела за возницу девочка лет четырнадцати в рваном платье. Ее мать похоронили близ Мононгахилы — девочка сама обложила дерном могильный холмик на берегу реки с красивым названием. Отец лежал в лихорадке на полу фургона, а вокруг него играли ее братья и сестры, чумазные ребятишки в отрепьях — веселые ребятишки.

У развилка, посреди заросшей травой дороги, девочка остановила фургон, и большой прерывающимся голосом проговорил:

— Эмми, ты бы лучше свернула на Циципинати. Если нам удастся разыскать дядю Эда, он, я думаю, примет нас к себе.

— Никто не захочет нас принять, — сказала девочка. — Поедем прямо вперед, куда можем. На запад! И я увижу много нового!

Она сварила ужин, уложила детей спать и долго сидела одна у костра.

Это была прабабка Мартина Эроусмита.

Во врачебном кресле в кабинете дока Векерсона, закинув ногу на ногу, пристроился мальчик и читал «Анатомию» Грея. Звали его Мартин Эроусмит из Элк-Милза в штате Уиннемак.

В Элк-Милзе (тогда, в 1897 году, это была неприглядная деревушка с домами красного кирпича и пахнувшая яблоками) уверяли, что раздвижное коричневой кожи кресло, на котором док Векерсон производил мелкие операции и дергал изредка зубы, а чаще подремывал, начало свое существование в цирюльне. Держалось также поверье, что некогда его владелец прозывался доктором Векерсоном, но с годами он превратился просто в «дока», и был он еще общарпанней и куда неподатливей своего кресла.

Мартин был сыном Дж.Дж.Эроусмита, который служил управляющим в «Нью-Йоркской Распродаже Готового Платья». Из чистого задора и упрямства мальчик сделался в четырнадцать лет неофициальным и, разумеется, бесплатным ассистентом дока; когда док объезжал больных по окрестностям, он его заменял — хотя, в чем нужно было заменять дока, никто не мог бы объяснить. Мартин был стройный мальчик, не очень высокий; волосы и беспокойные глаза были у него черные, а кожа необычайно белая, и этот контраст, казалось, говорил о страстном непостоянстве. Все же благодаря квадратной голове и изрядно широким плечам он не выглядел женственным; не было в нем и той раздражительной робости, которую молодые джентльмены артистического склада именуют щепетильностью. Когда он, слушая, вскидывал голову, правая бровь его, лежавшая немного выше левой, поднималась и подергивалась в характерном для него выражении, энергическом и независимом, — и тогда видно было, что мальчик умеет постоять за себя, и обнаруживалась та дерзкая пытливость, за которую его недолюбливали учителя и директор воскресной школы.

Мартин, как большинство обитателей Элк-Милза до славяно-итальянской иммиграции, был типичным чистокровным американским англосаксом — иными словами, в его жилах текла германская и французская кровь, шотландская, ирландская, немного, может быть, испанской, вероятно в некоторой дозе и та смесь, что зовется еврейской кровью, и в большой дозе — английская, которая в

свою очередь представляет собой соединение древнебританского, кельтского, финикийского, романского, германского, датского и шведского начал.

Нельзя с уверенностью утверждать, что, когда Мартин пошел в помощники к доку Викерсону, им безраздельно руководило высокое желание сделаться Великим Целителем. Правда, он внушал трепет своим ровесникам, когда перевязывал им ссадины или анатомировал белок и при этом разъяснял, какие поразительные и таинственные вещи кроются в физиологии; но в то же время он не был вполне свободен от тщеславного стремления стяжать среди товарищей славу, которая озаряла сына епископального священника, мальчика, который выкуривал целую сигару, не испытывая тошноты. Но сегодня он усердно читал главу о лимфатической системе, выговаривая вслух длинные и совершенно непонятные слова, и от его бормотания в пыльной комнате еще больше клонило ко сну.

Комната была средняя из трех, занимаемых доком Викерсоном, окнами на Главную улицу, прямо над «Нью-Йоркской Распродажей Готового Платья». По одну сторону от нее была затхлая приемная, по другую — спальня Викерсона. Док был старый вдовец; он несколько не заботился о том, что презрительно называл «женским уютом»; в его спальне, где стояла шаткая шифоньерка и прикрытая грязными одеялами походная кровать, никто не прибирал, кроме Мартина — в тех редких случаях, когда на мальчика находили приступы санитарного рвения.

Эта средняя комната служила одновременно конторой, врачебным кабинетом, операционной, гостиной, местом для игры в покер и складом охотничьих и рыболовных принадлежностей. У бурой оштукатуренной стены стоял стеклянный шкаф с зоологической коллекцией и медицинскими диковинами, а рядом — самый страшный и самый приманчивый предмет, какой только знали элк-милзские мальчишки: скелет с одиноким золотым зубом в оскале. По вечерам, когда док бывал в отлучке, Мартин для укрепления своего престижа приводил притихших мальчишек в жуткую темноту комнаты и чиркал серной спичкой о челюсть скелета.

На стене висело чучело щуки, собственноручно изготовленное доком и укрепленное на самодельной отполированной доске. Рядом со ржавой печуркой на захарканном, протертом до основы линолеуме стояла плевательница — просто ящик с опилками. На ветхом столе лежала груда памятных записей о долгах, которые док постоянно клялся «собрать, наконец, с этих прощельи», но которые он никогда, ни при каких обстоятельствах не взыскал бы ни с одного должника. Из года в год... из десятилетия в десятилетие... из века в век — ничто не менялось для работяги-врача в хлопотливом, как пчелиный улей, городке.

Самый антисанитарный угол был занят чугушной раковиной, которой чаще пользовались для мытья перемазанных яйцом тарелок после завтрака, чем для стерилизации инструментов. По ее краям разложены были разбитая пробирка, сломанный рыболовный крючок, пузырек без ярлыка с какими-то пилюлями, неизвестно какими, оцетинившийся гвоздями каблук, изжеванный окуроч сигары и воткнутый в картофелину ржавый ланцет.

Эта неприбранная запущенная комната выражала душу дока Викерсона, была ее символом: она волновала сильнее, чем безличные стопки башмачных коробок в «Нью-Йоркской Распродаже»; она манила Мартина Эроусмита на исследования и приключения.

Мальчик вскинул голову, поднял пытлившую бровь. На лестнице слышны были тяжелые шаги дока Векерсона. Док не пьян! Мартину не придется укладывать его в постель.

Но было недобрым признаком, что док прошел сперва через прихожую в спальню. Мальчик стал вслушиваться и услышал, как док отворил нижний шкафчик в умывальнике, где держал бутылку ямайского рома. Забулькало; затем невидимый доктор поставил бутылку на место и решительно захлопнул погую дверцу. Пока не страшно. Только раз приложился к бутылке. Если теперь он пройдет сразу в кабинет, все обойдется благополучно. Но док все еще стоял в спальне. Мартин вздохнул, когда дверца умывальника снова поспешно отворилась, и снова послышалось бульканье, потом в третий раз.

Поступь дока была много бодрее, когда он ввалился в кабинет серой тушей с серой щеткой усов — огромный, переальный и неопределенный, точно облако, на миг принявшее сходство с человеком. Сразу кидаюсь в атаку — обычный прием у того, кто желает предотвратить разговор о своей провинности, — док подошел к письменному столу и загремел:

— Что вы тут делаете, молодой человек! Что вы тут делаете? Т-так и знал, что кошка что-нибудь притащит, если я не запру дверь. — Он негромко икнул; улыбнулся, чтобы показать, что шутит, а то люди не всегда умеют распознать, в каком настроении док.

Он продолжал уже серьезней, забывая временами, о чем говорит:

— Читаешь старого Грея? Хорошее дело. Библиотека врача — это три книги: «Анатомия» Грея, библия, Шекспир. Учись. Из тебя может выйти великий врач. Будешь жить в Зените и зашибать пять тысяч долларов в год — что твой сенатор. Метвь всегда повыше. Лови удачу. И работай над собой. Кончишь сперва колледж, потом — на медицинский факультет. Изучай химию. Латынь. Науки! Я горе-врач. У меня ни кола, ни двора. Я старый бобыль и пьяница. А ты — ты будешь видным врачом. Будешь зашибать пять тысяч в год!

У жены Маррея эндокардит. Я ничего не могу для нее сделать. Некому посидеть с ней, поддержать за руку. Дорога — просто проклятие. Разворотило дренажную трубу за рощей. Прр...клятие!

Эндокардит и...

Учеба тебе пужна, учеба! Знать основы. Химию. Биологию. Я-то их не изучал. Миссис Джонс, жена преподобного Джонса, думает, что у ней язва желудка. Хочет ехать в город на операцию. Язва, как же! Оба они, и сам преподобный и его супружница, жрут не в меру!

Что они не исправят дренаж... И еще: не надо быть таким, как я, пропойцей. Учиться надо — накапливать знания. Чего не поймешь, объясню.

Мальчик, хоть и был он обыкновенным деревенским парнишкой, который не прочь пошвырять камнями в кошек и поиграть в пятнашки, испытывал лихорадку кладонскателя, когда док заплетающимся языком старался открыть его духовному взору всю славу знания, говорил ему про универсальность биологии, про торжествующую точность химии. Док был старый толстый человек, печистоплотный, опустившийся. С грамматикой он не ладил, его словарь смутил бы хоть кого, а его отзывы о своем сопернике, добрейшем докторе Нидхэме, были прямо скандальны; и все-таки он умел пробудить в Мартине мечту о химических опытах с шумными взрывами и вошью, мечту о разглядывании микроскопических

букашек, которых еще не доводилось увидеть ни одному мальчику в Элк-Милзе.

Голос доктора стал глуше. Старик опустился в кресло, взгляд его был мутен, нижняя губа отвисла. Мартин упрашивал его лечь, но док не сдавался.

— Не желаю спать! Нет! Выслушай. Ты не ценишь, а ведь я... Я уже стар. Я делюсь с тобою всеми знаниями, которые сам приобрел. Показываю тебе коллекцию. Единственный музей на весь край. Я — пионер просвещения.

Сотни раз Мартин послушно смотрел на предметы, разложенные в темном книжном шкафу с потускневшей полировкой; на жуков и на куски слюды; на зародыш двухголового теленка; на камни, удаленные из печени одной почтенной дамы, имя которой док с энтузиазмом называл каждому своему посетителю. Док стоял перед шкафом и водил громадным, но дрожащим указательным пальцем.

— Погляди на эту бабочку. Это — *porthesia chrysoptroea*. Док Нидхэм не мог бы тебе ее назвать. Он не знает, как какую бабочку зовут! Ему неважно, получишь ты знания или нет. Запомнил ты теперь это название? — Он повернулся к Мартину. — Ты слушаешь? Тебе интересно? А? Тьфу, черт! Никто и знать не желает о моем музее — ни одна душа! О единственном музее на весь край!! Я — старый неудачник!

— Да, право же, нет, — стал уверять Мартин. — Музей у вас шикарный!

— Смотри сюда! Смотри! Видишь? Вот здесь, в бутылке? Это — аппендикс. Первый аппендикс, вырезанный в нашем округе. И вырезал его я! Да! Что ты думаешь! Старый док Викерсон первый в этом захолустье сделал операцию аппендицита! И основал первый музей. Небольшой — правда... но это — начало. Я не скопил денег, как док Нидхэм, но я положил основу первой коллекции — первой!

Он повалился в кресло, простонал:

— Ты прав. Пойду спать! Выдохся. — Но когда Мартин помог ему подняться на ноги, он рванулся в сторону, стал шарить рукой по письменному столу, подозрительно оглянулся. — Я хотел дать тебе кое-что. Положить начало твоему учению. Не забывай старика. Будет кто-нибудь помнить старика?

Док держал в протянутой руке свою нежно любимую лупу, которой годами пользовался в занятиях ботаникой. Он посмотрел, как Мартин опустил лупу в карман, вздохнул, попробовал сказать что-то еще и молча побрел в спальню.

Штат Уиннемак граничит с Индианой, Иллинойсом, Огайо и Мичиганом и, подобно им, представляет собой сочетание Востока со Средним Западом. Его кирпичнойстройки деревни, осененные чинарами, его промыслы и традиции, восходящие к войне за независимость, дышат Новой Англией. Самый крупный город штата — Зенит — основан в 1792 году. Зато полями пшеницы и кукурузы, красными амбарами и силосными башнями Уиннемак принадлежит к Среднему Западу, и многие его округа, несмотря на седую древность Зенита, начали заселяться только с 1860 года.

Уиннемакский университет находится в Могалисе, в пятнадцати милях от Зенита. В нем учатся двенадцать тысяч студентов; Оксфорд рядом с этим чудом — крошечная богословская школа, а Гарвард — изысканный колледж для молодых джентльменов. При университете имеется бейсбольное поле под стеклянной крышей; его здания тянутся на много миль; он держит на жалованье сотни молодых докторов философии для ускоренного обучения студентов санскриту, навигации, счетоводству, подбору очков, санитарной технике, провансальской поэзии, таможенным правилам, выращиванию турнепса, конструированию автомобилей, истории города Воронежа, особенностям стиля Мэтью Арнольда¹, диагностике кимонаралитической миогипертрофии и рекламированию универмагов. Его ректор — первый специалист в Соединенных Штатах по добыванию денег и застольным речам; и Уиннемак первый среди университетов всего мира ввел передачу своих заочных курсов по радио.

Это не какой-нибудь колледж для юных снобов, посвященный праздным пустякам. Это — собственность граждан штата, а граждане штата нуждаются (или им внушают, что они нуждаются) в фабрике по изготовлению мужчин и женщин, которые вели бы правственный образ жизни, играли бы в бридж, ездили бы в хороших автомобилях, проявляли предприимчивость в делах и при случае упоминали ту или иную книгу, хотя всякому ясно, что читать им некогда. Это — фордовский завод; выпускаемые им автомобили хоть и дребезжат, зато безукоризненно стандартизованы, и их части можно легко переставлять с одного на другой.

Влияние Уиннемакского университета и численность его студентов растут с каждым часом, и можно ожидать, что к 1950 году он создаст совершенно новую всемирную цивилизацию — более мощную, более бойкую, более чистую.

В 1904 году, когда Мартин Эроусмит, получив звание бакалавра наук и искусств, готовился к поступлению на медицинский факультет, Уиннемак считывал всего пять тысяч студентов, но был уже довольно бойким центром.

Мартину исполнился двадцать один год. Он все еще казался бледным — по контрасту с гладкими черными волосами, но был приличным бегуном, неплохим центром в баскетболе и ярким хоккеистом. Студентки перешептывались о его «романтической внешности»; но так как было это до изобретения половой проблемы и до эры вечеринок с поцелуями, они говорили о нем только на расстоянии, и он не знал, что мог бы сделаться героем любовных историй. При всем своем упрямстве он был застенчив. Он не был совсем неопытен в ласках, но не превращал их в занятие. Общество его составляли молодые люди, мужского

гордостью которых было курить замусоленную кукурузную трубку и носить замусоленный свитер.

Университет стал его миром. Элк-Милз для него больше не существовал. Док Викерсон умер, был похоронен и забыт; отец и мать Мартина умерли, оставив ему средства только на окончание университета. Целью его жизни была химия и физика с перспективой биологии на будущий год.

Кумиром Мартина был профессор Эдвард Эдварде, руководитель кафедры химии, известный всем под кличкой «Дубль-Эдвардс». Познания Эдвардса в истории химии были необъятны. Он читал по-арабски и приводил в ярость своих коллег, уверяя, что арабы предвосхитили все результаты их изысканий. Сам профессор Эдварде никогда не занимался изысканиями. Он сидел перед камином, гладил свою овчарку и посмеивался в бороду.

В этот вечер Дубль-Эдвардс устроил один из своих обычных приемов, всегда охотно посещавшихся. Он откинулся на коричневую спинку обитого пилисом кресла и спокойно шутил на радость Мартину и еще пяти-шести молодым фанатикам химии, поддразнивая доктора Нормана Брамфита, преподавателя английской литературы. Комната была полна весельем, пивом и Брамфитом.

В каждом учебном заведении есть свой бунтарь, призванный повергать в трепет и смущение переполненные аудитории. Даже в столь интенсивно-добродетельной организации, как Уиннемакский университет, был такой бунтарь, — этот самый Норман Брамфит. Ему безоговорочно разрешалось говорить о себе, как об аморальном существе, агностике и социалисте, поскольку всем было известно, что он хранит целомудрие, верен пресвитерианской церкви и состоит в республиканской партии. Сегодня Брамфит был в ударе. Он уверял, что всякий раз, как мы имеем дело с гениальным человеком, можно доказать, что в нем есть еврейская кровь. Как всегда бывает в Уиннемаке, когда заходит речь об иудаизме, разговор перешел на Макса Готлиба, профессора бактериологии на медицинском факультете.

Профессор Готлиб был загадкой университета. Было известно, что он еврей, что он родился и учился в Германии и что его работы по иммунологии стяжали ему славу на Востоке² и в Европе. Редко выходил он из своего обветшалого коричневого домика, если не затем, чтоб вечером вернуться в лабораторию, и мало кто из студентов, не слушавших его курса, знал его в лицо; но каждый слышал о нем — о высоком, худом и смуглолицем затворнике. О нем ходили тысячи басен. Рассказывали, что он сын немецкого принца, что он несметно богат и живет так же скудно, как и прочие профессора, только потому, что производит таинственные и дорого стоящие опыты, — возможно, связанные даже с человеческими жертвами. Говорили, что он достиг умения создавать жизнь лабораторным путем, что, делая прививки обезьянам, он с ними разговаривает на обезьяньем языке, что из Германии он изгнан как поклонник дьявола и анархист и что каждый вечер он тайно пьет за обедом настоящее шампанское.

Традиция не позволяла профессорам и преподавателям разбирать своих коллег в присутствии студентов, но Макса Готлиба никто не смел считать своим коллегой. Он был безличен, как холодный северо-восточный ветер. Доктор Брамфит ораторствовал:

— Я достаточно, смею сказать, либерален в вопросе о правах науки, но с таким человеком, как Готлиб... Я готов поверить, что он знает все о силах мате-

риальных, но меня поражает, когда такой человек слепо закрывает глаза на жизненную силу, создающую все другие. Он утверждает, что знание не имеет цены, если не опирается на цифры. Прекрасно! Если кто-нибудь из вас, молодых светил, может взять и вымерить гений Бен Джонсона портновским сантиметром, тогда я соглашусь, что мы, бедные словесники, с нашей безусловно целепой верой в красоту, и верность идеалам, и в мир сповидений, — что мы на ложном пути!

Мартин Эроусмит не вполне уяснил себе точный смысл этих слов, но в юном своем пылу несколько этим не смутился. Он с облегчением услышал, как профессор Эдварде из гущи бороды и табачного дыма проронил нечто до странности похожее на «тьфу, пропасть!» и, перебив Брамфита, сам завладел разговором. В другое время Дубль с любезной язвительностью стал бы уверять, что Готлиб «похорошенных дел мастер», который тратит за годом год на разрушение теорий, созданных другими учеными, сам же не вносит в науку ничего нового. Но сегодня, в пику таким пустомелям-словесникам, как Брамфит, он стал превозносить Готлиба за долгие, одинокие, неизменно безуспешные усилия синтезировать антитоксины, за дьявольское наслаждение, с каким он опровергает свои собственные положения наряду с положениями Эрлиха³ или сэра Альмрота Райта⁴. Говорил он и о прославленной книге Готлиба «Иммунология», которую прочли семь девярых из всех людей, имеющих некоторые шансы ее понять, — а их во всем мире девять человек.

Вечер закончился знаменитыми пончиками миссис Эдварде. Сквозь марево весенней ночи Мартин зашагал к своему пансиону. Спор о Готлибе вызвал в нем безотчетное волнение. Он думал о том, как хорошо ночью в лаборатории, одному, уйти с головой в работу, презирая академический успех и общедоступные лекции. Сам он никогда не видел Готлиба, но знал, что его лаборатория помещается в главном медицинском корпусе. Он побрел по направлению к отдаленному медицинскому городку. Те немногие, кого он встретил на пути, торопливо и пастороженно проходили мимо. Мартин вступал в тень анатомического корпуса, угрюмого, точно казарма, и тихого, как мертвецы, что лежали там в секционной. Поодаль вставал со своими башнями главный медицинский корпус — угрюмая, туманная громада; высоко в темной стене — одинокий свет. Мартин замер. Свет внезапно потух — точно потревоженный полуночник старался спрятаться от него, Мартина.

Две минуты спустя на каменном крыльце медицинского корпуса появилась под дуговым фонарем высокая фигура аскета, замкнутого, неприступного. Смуглые щеки его были впалы, нос тонкий, с горбинкой. Он не торопился, как запоздалый семьянин. Он не видел мира. Он посмотрел на Мартина — сквозь него; и побрел прочь, что-то бормоча про себя, согрбив плечи, стиснув за спиной длинные переплетенные пальцы. Сам подобный тени, он скрылся среди теней.

На нем было сильно потертое пальто, как у любого небогатого профессора, но Мартину он запомнился в черном бархатном плаще, с горделивой серебряной звездой на груди.

С первого дня поступления на медицинский факультет у Мартина Эроусмита сложилось высокое мнение о себе. Он был медиком и потому казался романтичней других студентов, ибо медики славятся знакомством с различными тайнами, ужасами, захватывающими пороками. Студенты других отделений забегают к